

*In memory of my great — grandmother,  
Marie Andre Sorin  
(1892—1968)*

1

**February 11, Shrove Tuesday**

**W**e came on the wind of the carnival. A warm wind for February, laden with the hot greasy scents of frying pancakes and sausages and powdery-sweet waffles cooked on the hotplate right there by the roadside, with the confetti sleeting down collars and cuffs and rolling in the gutters like an idiot antidote to winter. There is a febrile excitement in the crowds which line the narrow main street, necks craning to catch sight of the crepe-covered char with its trailing ribbons and paper rosettes. Anouk watches, eyes wide, a yellow balloon in one hand and a toy trumpet in the other, from between a shopping-basket and a sad brown dog.

We have seen carnivals before, she and I; a procession of two hundred and fifty of the decorated chars in Paris last Mardi Gras, a hundred and eighty in New York, two dozen marching bands in Vienna, clowns on stilts, the Grosses Tetes with their lolling papier-mache heads, drum majorettes with batons spinning and sparkling. But at six the world retains a special lustre. A wooden cart, hastily decorated with gilt and crepe and scenes from

*В память о моей прабабушке  
Мари-Андре Сорен  
(1892—1968)*

1

**11 февраля, вторник на Масленой неделе**

**М**ы прибыли сюда с карнавалом. Нас пригнал ветер, не по-февральски теплый ветер, что полнится горячими сальными ароматами шкворчащих лепешек, сосисок и посыпанных сладкой пудрой вафель — их пекут на раскаленной плите прямо у обочины. В воздухе дурацким противоидеом от зимы вихрится конфетти, скользит по рукавам, манжетам и в конце концов оседает в канавах. Люди лихорадочно толпятся вдоль узкой главной улицы, тянут шеи, хотят разглядеть обитую крепом повозку — за ней тянется шлейф из лент и бумажных розочек. Анук — в одной руке желтый воздушный шар, в другой игрушечная труба — смотрит во все глаза, стоя между базарной корзиной и грустным бурым псом.

Карнавальные шествия нам, мне и ей, не в диковинку; двести пятьдесят разукрашенных повозок перед прошлым постом в Париже, сто восемьдесят в Нью-Йорке, два десятка марширующих оркестров в Вене, клоуны на ходулях, карнавальные куклы качают большими головами из папье-маше, девушки в мундирах вращают сверкающими жезлами. Но когда тебе шесть, мир полон особого очарования. Деревянная повозка, наспех украшенная

fairy tales. A dragon's head on a shield, Rapunzel in a woollen wig, a mermaid with a Cellophane tail, a gingerbread house all icing and gilded cardboard, a witch in the doorway, wagging extravagant green fingernails at a group of silent children... At six it is possible to perceive subtleties which a year later are already out of reach. Behind the papier-mache, the icing, the plastic, she can still see the real witch, the real magic. She looks up at me, her eyes, which are the blue-green of the Earth seen from a great height, shining.

“Are we staying? Are we staying here?”

I have to remind her to speak French.

“But are we? Are we?”

She clings to my sleeve. Her hair is a candyfloss tangle in the wind.

I consider. It's as good a place as any. Lansquenetsous-Tannes, two hundred souls at most, no more than a blip on the fast road between Toulouse and Bordeaux. Blink once and it's gone. One main street, a double row of dun coloured half-timbered houses leaning secretively together, a few laterals running parallel like the tines of a bent fork. A church, aggressively whitewashed, in a square of little shops. Farms scattered across the watchful land. Orchards, vineyards, strips of earth enclosed and regimented according to the strict apartheid of country farming: here apples, there kiwis, melons, endives beneath their black plastic shells, vines looking blighted and dead in the thin February sun but awaiting

позолотой и крепом, сцены из сказок. Голова дракона на щите, Рапунцель в шерстяном парике, русалка с целлофановым хвостом, пряничный домик — картонная коробка в глазури с позолотой, в дверях колдунья тычет пальцами с нелепыми зелеными ногтями в группу притихших детей... В шесть лет ты способен постигать тонкости, которые годом позже уже будут вне твоего разумения. За папье-маше, мишурой, пластиком она еще видит настоящую колдунью, настоящее волшебство. Она смотрит на меня. Глаза сияют, сине-зеленые, как Земля, открывшаяся взору с большой высоты.

— Мы здесь останемся? Останемся?

Приходится напоминать, что говорить надо по-французски.

— Но мы останемся? Останемся?

Она цепляется за мой рукав. На ветру ее волосы — будто ком сахарной ваты.

Я раздумываю. Городок не хуже других. Ланскне-су-Танн. Сотни две душ, не больше. Крошечная точка на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо. Моргнул — и уже проскочили. Одна главная улица — два ряда деревянно-кирпичных домиков мышинового цвета, застенчиво льнущих один к другому; боковые ответвления тянутся параллельно, словно зубцы кривой вилки. Вызывающе белая церковь на площади; по периметру площади — магазинчики. Фермы, разбросанные по недремлющим полям. Сады, виноградники, огороженные полоски земли, расчлененной согласно строгой иерархии местного сельского хозяйства: здесь яблони, там киви, дыни, эндивий под панцирем

triumphant resurrection by March... Behind that, the Tannes, small tributary of the Garonne, fingers its way across the marshy pasture. And the people? They look much like all others we have known; a little pale perhaps in the unaccustomed sunlight, a little drab. Headscarves and berets are the colour of the hair beneath, brown, black or grey. Faces are lined like last summer's apples, eyes pushed into wrinkled flesh like marbles into old dough. A few children, flying colours of red and lime-green and yellow, seem like a different race.

As the char advances ponderously along the street behind the old tractor which pulls it, a large woman with a square, unhappy face clutches a tartan coat about her shoulders and shouts something in the half-comprehensible local dialect; on the wagon a squat Santa Claus, out-of-season amongst the fairies and sirens and goblins, hurls sweets at the crowd with barely restrained aggression. An elderly small-featured man, wearing a felt hat rather than the round beret more common to the region, picks up the sad brown dog from between my legs with a look of polite apology. I see his thin graceful fingers moving in the dog's fur; the dog whines; the master's expression becomes complex with love, concern, guilt. No-one looks at us. We might as well be invisible; our clothing marks us as strangers, tran-

из черного пластика, виноградные лозы — сухие, зачахшие плети в лучах скудного февральского солнца — ожидают марта, чтобы победоносно воскреснуть из мертвых... Дальше — Танн, маленький приток Гаронны, — нащупывает себе дорогу по болотистому пастбищу. А что же местные жители? Мало чем отличаются от тех, кого мы встречали прежде; может, чуть бледнее при свете нежданного солнца, чуть тусклее. Платки и береты тех же оттенков, что и упрятанные под них волосы, — коричневые, черные, серые. Лица скукоженные, как прошлогодние яблоки; глаза утопают в морщинистой коже, будто стеклянные шарики в затвердевшем тесте. Несколько ребятишек в красных, лаймовых, желтых развевающихся одежках чудятся пришельцами с другой планеты.

Крупная женщина с квадратным несчастным лицом, кутая плечи в клетчатый плащ, что-то кричит на полупонятном местном диалекте в сторону повозки, медленно катящей по улице вслед за старым трактором, который ее и тащит. Из фургона коренастый Санта-Клаус, явно лишний в компании эльфов, сирен и гоблинов, швыряет в толпу сладости, еле сдерживая злость. Пожилой мужчина с мелкими чертами лица — вместо круглого берета, традиционного головного убора местных, на нем фетровая шляпа, — глянув на меня с виноватой учтивостью, берет на руки грустную бурую псину, притулившуюся у моих ног. Я вижу, как его тонкие красивые пальцы зарываются в собачью шерсть; пес скулит; на лице его хозяина отражается сложная смесь чувств — любовь, тревога,

sients. They are polite, so polite; no-one stares at us. The woman, her long hair tucked into the collar of her orange coat, a long silk scarf fluttering at her throat; the child in yellow wellingtons and sky-blue mac. Their colouring marks them. Their clothes are exotic, their faces — are they too pale or too dark? — their hair marks them other, foreign, indefinably strange. The people of Lansquenet have learned the art of observation without eye contact. I feel their gaze like a breath on the nape of my neck, strangely without hostility but cold nevertheless. We are a curiosity to them, a part of the carnival, a whiff of the outlands. I feel their eyes upon us as I turn to buy a galette from the vendor. The paper is hot and greasy, the dark wheat pancake crispy at the edges but thick and good in the centre. I break off a piece and give it to Anouk, wiping melted butter from her chin. The vendor is a plump, balding man with thick glasses, his face slick with the steam from the hot plate. He winks at her. With the other eye he takes in every detail, knowing there will be questions later.

“On holiday, Madame?”

Village etiquette allows him to ask; behind his tradesman’s indifference I see a real hunger. Knowledge is currency here; with Agen and Montauban so close, tourists are a rarity.

угрызения совести. На нас никто не смотрит, будто мы невидимки. Одежда выдает в нас чужаков, проезжих. Воспитанные люди, на редкость воспитанные; ни один не взглянет на нас. На женщину с длинными волосами, заткнутыми за воротник оранжевого плаща, и длинным трепыхающимся шелковым шарфом на шее. На ребенка в желтых резиновых сапогах и небесно-голубом макинтоше. У них другой колорит. Броский наряд, лица — чересчур бледные или слишком смуглые? — волосы, все у них не такое, чужое, смутно непривычное. Обитатели Ланскне в совершенстве владеют искусством наблюдения украдкой. Их взгляды словно дышат мне в затылок — вовсе не враждебные, как ни странно, и тем не менее холодные. Мы для них — диковинка, карнавальная экзотика, заморские гости. Я чувствую их взгляды, когда поворачиваюсь к уличному торговцу, чтобы купить лепешку. Бумага жирная и горячая, пшеничная лепешка хрустит по краям, но в середине толстая и пышная. Я отламываю кусок и даю Анук, вытираю растаявшее масло с ее подбородка. Уличный торговец — полноватый лысеющий мужчина в очках с толстыми стеклами; от жара плиты на лице испарина. Он подмигивает Анук. Другим глазом подмечает каждую мелочь, зная, что позже его будут расспрашивать.

— В отпуск приехали, мадам?

Согласно местному этикету, ему дозволено заговаривать с незнакомцами. Я вижу, что за внешним безразличием торговца кроется жадное любопытство. В Ланскне, соседствующем с Аженом



“For a while.”

“From Paris, then?”

It must be our clothes. In this garish land the people are drab. Colour is a luxury; it wears badly. The bright blossoms of the roadside are weeds, invasive, useless.

“No, no, not Paris.”

The char is almost at the end of the street. A small band — two fifes, two trumpets, a trombone and a side drum — follows it, playing a thin unidentifiable march. A dozen children scamper in its wake, picking up the unclaimed sweets. Some are in costume; I see Little Red Riding Hood and a shaggy person who might be the wolf squabbling companionably over possession of a handful of streamers.

A black figure brings up the rear. At first I take him for a part of the parade — the Plague Doctor, maybe — but as he approaches I recognize the old-fashioned soutane of the country priest. He is in his thirties, though from a distance his rigid stance makes him seem older. He turns towards me, and I see that he too is a stranger, with the high cheekbones and pale eyes of the North and long pianist’s fingers resting on the silver cross which hangs from his neck. Perhaps this is what gives him the right to stare at me, this alienness; but I see no welcome in his cold, light eyes. Only the measuring, feline

и Монтобаном, туристы — большая редкость, и посему любая новая информация здесь — как живые деньги.

— На время.

— Из Парижа, значит?

Это, должно быть, из-за одежды. В этом пестром краю люди блеклые. Сочные цвета, по их мнению, ненужная роскошь; не к лицу. Яркая растительность по обочинам — это все бесполезные, навязчивые сорняки.

— Нет-нет, не из Парижа.

Повозка уже почти в конце улицы. Небольшой оркестр — две флейты, две трубы, тромбон и военный барабан — идет за ней, тихо наигрывая неузнаваемый марш. Следом бегут с десятков ребятшек, подбирают с земли неустребованные сласти. Кое-кто в карнавальных костюмах: я вижу Красную Шапочку и еще какого-то косматого персонажа; возможно, это Волк. Они беззлобно препираются из-за охапки лент.

Колонну замыкает фигура в черном. Поначалу я принимаю его за участника карнавала — быть может, Врачевателя Чумы, — но вот он приближается, и я узнаю старомодную сутану сельского священника. Ему за тридцать, хотя издали он кажется старше — до того чопорен. Он поворачивается ко мне; я вижу, что он тоже не местный уроженец. Ширококостное лицо, светлые глаза северянина, длинные, как у пианиста, пальцы покоятся на серебряном кресте, висящем на шее. Возможно, именно это, его чужеродность, и дает ему право смотреть на меня. Но я не замечаю дружелюбия в его холодных светлых

look of one who is uncertain of his territory. I smile at him; he looks away, startled, beckons the two children towards him. A gesture indicates the litter which now lines the road; reluctantly the pair begin to clear it, scooping up spent streamers and sweet-wrappers in their arms and into a nearby bin. I catch the priest staring at me again as I turn away, a look which in another man might have been of appraisal.

There is no police station at Lansquenet-sous-Tannes, therefore no crime. I try to be like Anouk, to see beneath the disguise to the truth, but for now everything is blurred.

“Are we staying? Are we, Maman?” She tugs at my arm, insistently. “I like it, I like it here. Are we staying?”

I catch her up into my arms and kiss the top of her head. She smells of smoke and frying pancakes and warm bedclothes on a winter’s morning.

Why not? It’s as good a place as any.

“Yes, of course,” I tell her, my mouth in her hair. “Of course we are.”

Not quite a lie. This time it may even be true.

The carnival is gone. Once a year the village flares into transient brightness but even now the warmth has faded, the crowd dispersed. The vendors pack up their hotplates and awnings, the children discard their costumes and party favours. A slight air of embarrassment prevails, of abashment at this excess of noise and colour. Like rain in midsum-

глазах. Он сверлит меня оценивающим злобным взглядом как человек, опасющийся за свою территорию. Я улыбаюсь ему, он испуганно отворачивается. Жестом подзывает двух ребятешек, показывает им на мусор, которым теперь усыпана вся дорога. Дети нехотя подбирают и бросают ленты и фантики в ближайший мусорный бак. Отворачиваясь, краем глаза опять ловлю его взгляд, который, возможно, сочла бы восхищенным, будь на месте священника любой другой мужчина.

Полицейского участка в Ланскне-су-Танн нет, а значит, нет и преступности. Я пытаюсь брать пример с Анук, пытаюсь разглядеть истину под внешним обликом, но пока все расплывается.

— Мы останемся? Останемся, тапан? — Она настойчиво дергает меня за руку. — Мне здесь нравится, очень нравится. Мы ведь останемся?

Я подхватываю ее на руки и целую в макушку. От Анук пахнет дымом, жареными лепешками и теплом постели в зимнее утро.

Почему бы нет? Городок не хуже других.

— Да, конечно, — отвечаю я ей, зарываясь губами в ее волосы. — Конечно, останемся.

И я почти не лгу. Возможно, на этот раз так и будет.

Карнавал окончен. Раз в год Ланскне ненадолго вспыхивает яркими красками и так же стремительно остывает. На наших глазах толпа рассеивается, торговцы убирают горячие плиты и навесы, дети снимают карнавальные костюмы и украшения. Все немного смущены и растеряны от избытка шума и цвета, что испаряются, как июльский